

АРТЕМ СМИРНОВ

О «сумме индивидов»,
«лингвистическом идеализме»
и «носителе суверенитета»:

Ответ Б. Г. Капустину

В настоящей реплике мне бы хотелось ответить на некоторые критические замечания, сделанные по поводу моей предыдущей статьи¹ Б. Г. Капустиным и касающиеся вменяемого мне, во-первых, представления о нации как о «сумме индивидов»; во-вторых, «лингвистического идеализма»; и, в-третьих, утверждения приоритета суверенитета нации перед суверенитетом народа в политической практике современности. Этот ответ представляется мне важным главным образом потому, что он не согласуется с тремя центральными тезисами о «характерных чертах отечественного дискурса о нации и национализме», которые стремится обосновать Б. Г. Капустин.

В ответ на первое замечание имеет смысл сначала напомнить, о чем именно шла речь в моем тексте. Я писал, что «современная “нация” состоит из националистов — индивидов, которые верят в существование нации, идентифицируют себя с ней и принимают участие в соответствующих коллективных действиях, — “горячих” и “банальных”» (с.162). По всей видимости, предшествующее этому утверждению упоминание о роли «идеологических аппаратов государства» оказалось незамеченным и, соответственно, не напомнило об одноименной статье Альтюссера, описывавшей механизм воспроизводства производственных отношений. «Индивиды» появились в моем тексте потому, что задача идеологических аппаратов как раз и состоит в том, чтобы «интерпел-

¹ Смирнов А. Национализм: нация = коллективное действие: пустое означающее // Логос. 2006. № 2. С.160–166.

лизовать к индивидам как к субъектам», «признающим» себя в идеологическом «оклике» и обретающим в результате идеологическую «веру».² Националистами, таким образом, оказываются индивиды, откликающиеся на националистическую интерпелляцию (обращенную к ним как к «членам нации») и отождествляющие себя с «позицией [националистического] субъекта», которая предполагается дискурсом национализма. «Индивиды», которые и у самого Альтюссера были теоретической фикцией, призванной показать механизм действия идеологии, необходимы также для напоминания о том, что позиция националистического субъекта не исчерпывает всех возможных позиций субъектов и, соответственно, всех возможных интерпелляций, хотя она и является гегемонистской в современном мире. Понятно, что к идее «нации» как «суммы индивидов» все это имеет, если вообще имеет, весьма отдаленное отношение.³

Тезис о том, что «современная “нация” состоит из националистов», кажется мне важным еще по одной причине. Он позволяет избежать представления о социальной и культурной гомогенности сообществ (позиция «методологического национализма»), к которым применяется такое означающее, поскольку, по определению Энтони Смита, «националист не требует, чтобы индивидуальные члены [нации] действительно *были* похожими [друг на друга], а только того, чтобы они *ощутили* прочные узы солидарности и, следовательно, *действовали* единообразно во всех вопросах национальной важности».⁴ Пожалуй, наиболее распространенным примером подобного единообразного *действия* служит

² Такая «вера» не остается без последствий и, в сущности, обладает структурой «самосполняющегося пророчества». Пример социальных последствий социальной веры приводится и самим Б. Г. Капустиным в цитате из Маркса о «воображаемых талерах». И если «воображаемые талеры» не считаются проявлением субъективизма и идеализма, то отчего понимание наций как «воображаемых сообществ» лишь на основании отсылки к социальному воображению обязательно должно свидетельствовать об этих теоретических прегрешениях? Ведь Бенедикт Андерсон, впервые назвавший нацию «воображаемым сообществом», из работы в работу последовательно показывает материальные условия возникновения и распространения этой формы воображения и не нуждается в каких-то дополнительных оправданиях.

³ Мне неизвестен ни один современный теоретик, готовый говорить о «сумме индивидов» всерьез, а не в порядке мысленного эксперимента; и даже такой выдающийся нелиберальный мыслитель, как Маргарет Тэтчер, заявив о том, что «общества не существует», сразу же сделала оговорку: «существуют индивидуальные / отдельные мужчины и женщины и существуют семьи».

⁴ Smith A. Nationalism: Theory, Ideology, History. Cambridge, UK: Polity, 2001. P. 26. Такое описание националиста близко к пониманию идентичности Б. Г. Капустиным как общности (в данном случае — общего участия в наблюдаемом коллективном действии), а не одинаковости (как в подавляющем большинстве определений «нации»), но степень этой «общности» никогда не следует переоценивать, как это нередко случается, к примеру, при отождествлении интересов группы в целом с интересами индивидов.

«признание» существования нации в перформативном речевом действии. И здесь мы подходим ко второму упреку — упреку в «лингвистическом идеализме».

Этот упрек относится, прежде всего, к моему утверждению о том, что националисты создают «нацию» своими высказываниями (с. 162). Мне кажется, что разбор одного из замечаний, сделанных Б. Г. Капустиным по поводу теории речевых актов и формирования «нации», позволит прояснить, о чем именно идет речь. Так, Б. Г. Капустин пишет, что возникновение нации возможно «без специальных рассуждений или призывов к ее созданию», риторически вопрошая при этом: «кто среди «отцов-пилигримов» или даже «отцов-основателей» Американской республики призывал к созданию американской нации?». По всей видимости, этот пример должен свидетельствовать о том, что «отцы-пилигримы», сами того не осознавая, уже были первыми членами или, по крайней мере, заложили основы американской «нации». Но он свидетельствует, скорее, о необычайном влиянии националистической риторики на современных теоретиков. В результате чего пассажиры «Мэйфлауэра», основавшие в 1620 году Новую Англию, оказались вписанными в историю американской «нации»? В результате националистического «чревоуращения наоборот» (*reversed ventriloquism*),⁵ выстраивающего непротиворечивую ретроспективную телеологию развития «нации» от предполагаемых «истоков» к нынешнему состоянию.

В этом нет ничего удивительного или нового, поскольку такова логика устройства всякого националистического нарратива. Более интересен вопрос о том, когда именно пуританские колонисты превратились в «отцов-первопоселенцев/первооснователей» (*Forefathers*)?⁶ На протяжении большей части XVIII века они никого не интересовали и были просто «first comers», «old comers» или «first planters», а слабый в политическом отношении Плимут — «Старой колонией». «Отцами-первопоселенцами» они стали лишь в начале революционной эпохи, когда плимутский «Клуб Старой колонии», членами которого были протонационалистически/патриотически настроенные состоятельные горожане,⁷ впервые отметил в 1769 году «День отцов-первопоселенцев». В 1774 году

⁵ Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 2001. С. 215.

⁶ Исторически такое именование предшествует «отцам-пилигримам» (*Pilgrim fathers*).

⁷ Речь идет о «протонационализме», а не о собственно национализме потому, что, в отличие от Великой французской революции, Американская революция изначально легитимировала себя как восстание подданных колоний против нарушений правительственных обязательств и «злоупотреблений» короля. В этом отношении показателен апокрифический тост одного из основателей «Клуба Старой колонии», произнесенный во время первого празднования «Дня отцов-первопоселенцев»: «Чтоб каждый из нас был столь же чуток к произволу власти, как наши благородные предки!» Тем не менее в Американской революции народный суверенитет и предполагаемое общее прошлое не были столь четко артикулированы, как в Великой французской.

бостонские «Сыны свободы» поставили этот праздник на службу революционному сопротивлению, но уже в 1780 году о нем забыли. И только с 1820 года — двухсотой годовщины со дня высадки первых колонистов — он стал праздноваться регулярно.⁸

Итак, в каком смысле можно говорить, что националисты создают нацию своими высказываниями? В том смысле, что американские националисты *своими высказываниями* сделали новоанглийских колонистов «отцами-первопоселенцами». Где именно новоанглийские колонисты являются «отцами-первопоселенцами»? В *высказываниях* рядовых националистов и официальных историков. Очевидно — и об этом прямо говорилось в моем тексте, — что к таким речевым актам, в сущности, неприменимы критерии истинности/ложности, а «злоупотреблениями» в остиновском смысле слова они являются лишь для немногочисленных профессиональных историков, относящихся к ним по большей части снисходительно. Кто же в таком случае совершает подмену «исторических практик» перформативными высказываниями, которая вменяется в вину «лингвистическим идеалистам», как не сами националисты? Более всего интересно, что об этом пишет и сам Б. Г. Капустин в связи с борьбой за символизацию «факта» «открытия/завоевания» Америки, используя при этом «идеалистическую», в его понимании, категорию «воображения».

Не обязательно иметь какую-то специальную «теорию националистических речевых актов», чтобы заметить, что само представление о «всесилии» речевых актов националистов, действительно встречающееся у некоторых политических теоретиков, возникает вследствие забывания о различии между иллокутивными и перлокутивными речевыми актами, которые используются в стратегическом действии. Предельно упрощая, различие между ними состоит в том, что первые сами заключают в себе действие, тогда как вторые нацелены на достижение определенного состояния или совершение внеречевого действия. Очевидно, что по множеству самых различных причин перлокутивный эффект достигается далеко не всегда. И, как мне кажется, «концептуально и логически грубый материализм» теории рационального выбора позволяет понять почему, несмотря на призывы «горячих» националистов и наличие всех необходимых «объективных» условий для его совершения, националистического коллективного действия не происходит вовсе или же оно терпит провал.⁹

⁸ См. об этом: Conforti J. A. *Imagining New England: Explorations of Regional Identity from the Pilgrims to the Mid-Twentieth Century*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 2001. P. 175–180, а также многочисленные работы Удо Хебеля.

⁹ Не связанный с исследованиями национализма, но все же показательный пример продуктивного сочетания теории рационального выбора с теорией коммуникативного действия см.: Heath J. *Communicative Action and Rational Choice*. Cambridge, MA and London: MIT Press, 2001.

«Грубость» теории рационального выбора, конечно, состоит в принятии «интересов» как статичных данностей и неспособности объяснить историческое возникновение представления о национальном суверенитете как об общественном благе. И это заставляет нас вернуться к вопросу об отношениях — в терминологии Б. Г. Капустина — между «историческими практиками» и «нарративами». Возможно, это послужит очередным свидетельством моего «лингвистического идеализма», но мне непонятно, как можно представлять «нарративы» в виде простой репрезентации или отражения неких — недифференцированных — исторических практик? Значит ли это, что первые прямо детерминируются последними или могут быть редуцированы к ним? Здесь уместно вспомнить слова блестящего британского историка Гарета Стедман Джонса о том, что «язык подрывает всякое простое представление об определении сознания общественным бытием, так как он сам является частью общественного бытия. Поэтому мы не можем декодировать политический язык, сводя его к основному и материальному выражению интереса, так как именно дискурсивная структура политического языка дает начало интересу и определяет его в первую очередь».¹⁰

Но символически определяются не только интересы, но и социальные антагонизмы. Вопреки Б. Г. Капустину, тезис о «сверхдетерминации» национализма социальным или «классовым» антагонизмом в предложенной мной формулировке может показаться слишком альтюссеррианским.¹¹ *Mea maxima culpa*: без специальных оговорок использованные мной категории «сверхдетерминации» и «пустого означающего» действительно создают возможность для неверного толкования. Как известно, Альтюссер, благодаря которому понятие «сверхдетерминации» из психоанализа попало в социальный анализ, никогда не отказывался от «детерминации в конечном счете экономикой», признавая за надстройкой лишь «относительную автономию». При этом основная трудность марксизма заключалась в том, что из развития производи-

¹⁰ Stedman Jones G. *Languages of Class: Studies in English Working Class History, 1832–1982*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1983. P. 21–22. При всей кажущейся простоте, если не сказать наивности, этого замечания, оно тем не менее напоминает нам о невозможности какого-либо простого разделения «лингвистического» и «исторического». В то же время нужно отметить, что Стедман Джонс прекрасно сознает трудности, встающие перед «лингвистическими» подходами в современной историографии (в том числе теми, что по праву могут быть признаны «идеалистическими»), но его самого причислить к «лингвистическим идеалистам» вряд ли возможно (см.: Stedman Jones G. *The Determinist Fix: Some Obstacles to the Further Development of the Linguistic Approach to History in the 1990s* // *History Workshop Journal*. 1996. Vol. 42. P. 19–35).

¹¹ Ср.: «хотя не всякое противоречие может быть редуцировано к классовому противоречию, каждое противоречие сверхдетерминировано классовой борьбой» (Laclau E. *Politics and Ideology in Marxist Theory. Capitalism, Fascism, Populism*. London: New Left Books, 1977. P. 108); в тексте, из которого взята эта цитата, Лаклау еще не проводил различия между «противоречием» и «антагонизмом».

тельных сил и производственных отношений в марксизме не вытекал с необходимостью «классовый антагонизм», а из структурного положения рабочего класса — простой совокупности продавцов рабочей силы — не вытекала с необходимостью «классовая борьба». Но если рассматривать «сверхдетерминацию» в постмарксистском ключе как практику символического конституирования социального, несводимого к каким-либо имманентным законам (экономики в случае с марксистами),¹² а «класс» в том смысле, в каком о нем говорит Юли Тамир (этот «класс» определяется не столько своим положением в структуре производства, сколько общими воспринимаемыми рисками и возможностями),¹³ то современный «горячий» национализм в России и Европе действительно окажется сверхдетерминированным «классовым антагонизмом». Социальный или «классовый» антагонизм, который на всем протяжении существования национального государства определял идентичность немобильных низших «классов», поддерживая хрупкий баланс рисков и возможностей, теперь заметно обострился и начал ставить под угрозу само существование такой идентичности, поскольку исчезновения прежних рисков не произошло (они даже дополнились новыми), а имевшиеся раньше возможности начали закрываться. Нынешний же «горячий» национализм использует существующие языки «нации» и даже «расы» для указания на предполагаемые источники общих «классовых» рисков (прежде всего, «угроза мигрантов»). Именно это я и имел в виду, говоря о сверхдетерминации национализма классовым антагонизмом. Это вовсе не значит, что о «классовых» рисках можно говорить на языке одного только национализма — они вполне могут быть включены (и включаются) в другие дискурсы — суб- и наднационалистические; дело, скорее, в общей исторической распространенности, доступности и влиятельности этого языка.

«Пустота» означающего «нация» также не имеет ничего общего с «ничтожностью»;¹⁴ напротив, во время борьбы за национальный суверенитет с режимами, которые определяются в качестве «старых» или колониальных, оно становится означающим «полноты» общества, отодвигая на второй план решение всех остальных задач и стирая на время различия между участниками националистического коллективного действия. После обретения чаемого суверенитета происходит частичная седиментация значения и означающее «нация», которое продолжает признаваться значимым всеми политическими участниками, хотя и не имеющим раз и навсегда заданного значения, превращается

¹² Постмарксистскую ревизию «сверхдетерминации» см.: Laclau E. and Mouffe Ch. *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. London: Verso, 1985. P. 97–98.

¹³ Тамир Ю. Класс и нация // *Логос*. 2006. № 2 (53). С. 40–56.

¹⁴ Подробнее о значении «пустых» означающих для политики см.: Laclau E. *Emancipation (s)*. London: Verso, 1996; Laclau E. *On Populist Reason*. London: Verso, 2005.

в область борьбы за закрепление за ним определенного значения между различными идеологиями (и задавая область этой борьбы). Из этого следует, что «нацию» нельзя считать неполитическим означающим, а любые попытки его деполитизации сами по себе неизбежно оказываются политическими. Так что юридическое определение нации как дополитической основы государства не обязательно должно быть «естественным проявлением профессионального юридического кретинизма», как пишет Б. Г. Капустин; скорее, оно является образцовым случаем «организованного лицемерия».¹⁵

В том, что касается третьего момента — вопроса о «носителе суверенитета», — то здесь я не вижу серьезного различия между своей позицией и позицией Б. Г. Капустина, потому что идея национального суверенитета, как мне кажется, возникает вследствие случайной артикуляции идеи народа как источника верховной власти с идеей нации как (по преимуществу фиктивной) исторической общности. Речь не идет о культурной общности, потому что пресловутая «общая культура» существует только в высказываниях националистов (за пределами этих высказываний имеет место, пользуясь выражением Б. Г. Капустина, «классический мультикультурализм»). Действительная общая история «нации» ограничивается историей участия в общем коллективном действии — упомянутой уже борьбе со «старыми» или колониальными режимами. В то же время в качестве основы для этого действия, как правило, используется фиктивная история общего угнетения другой фиктивной нацией, правителями, имеющими другое происхождение. Так, борьба «третьего сословия» с монархом и знатью в Великой французской революции описывалась в терминах борьбы между «нацией» и «франкскими завоевателями», к которым и относилась себя знать: вспомним предложение аббата Сийеса «препроводить обратно в Франконские леса все те семьи, которые сохраняют безумные притязания на права первоначальных завоевателей Франции».¹⁶ Знать приравнивалась по своему статусу

¹⁵ Krasner S. Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998.

¹⁶ Сийес Э. Ж. Что такое третье сословие? // Аббат Сийес: от Бурбонов к Бонапарту. СПб.: Алетейя, 2003. С. 161. Об «истории» противостояния «франков» и «галлов» см.: Pomian K. Franks and Gauls // P. Nora (ed.) *Realms of Memory: Rethinking the French Past*. New York, NY: Columbia University Press, 1996. P. 27–78; Фуко М. Нужно защищать общество: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975–1976 учебном году. СПб.: Наука, 2005. У меня нет возможности для сколько-нибудь подробного рассмотрения здесь вопроса о соотношении «расы» и «нации»; достаточно только отметить, что в XVIII веке язык «нации» во многом пересекался и многое заимствовал из языков «расы» и «расовой борьбы». Схожие теории «норманнского ига», попиравшего права англичан, также получили широкое распространение в английской радикальной традиции второй половины XVII — первой половины XIX веков. См.: Hill C. *The Norman Yoke* // Hill C. *Puritanism and Revolution: Studies in Interpretation of the English Revolution of the 17th Century*. London: Secker and Warburg, 1958. P. 50–122; о попытках использования идеи «ига»

к иностранцам не только в революционных памфлетах, но и политической практике стигматизации «врагов нации».¹⁷ Но некоторые представители знати могли быть включены в «нацию» после «перерождения» и избавления от *tache* — своего «запятнанного» и «греховного» иного происхождения — путем отказа от привилегий и постоянной демонстрации верности революции.

Различное решение этого вопроса о включении в «нацию» во Франции и Британии — в первой революционный «народ» выборочно принимал в «нацию» одних бывших аристократов и казнил или изгонял других, а во второй верхи сами посчитали необходимым заняться созданием «единой» нации (из тех «двух», что были описаны Дизраэли), включив социальные низы — служит отражением двух противоположных стратегий гегемонии. Французская революция была, по Грамши, образцовым примером экспансивной гегемонии и формирования национально-народного исторического блока.¹⁸ «Пассивную революцию», проведенную тори в Британии середины XIX века с целью раскола чартизма и сохранения своей классовой власти, можно считать таким же образцовым случаем трансформистской гегемонии, заключающейся в «постепенном, но непрерывном поглощении различными по своей эффективности методами активных элементов не только из союзных, но даже неприятельских групп, которые казались непримиримо враждебными».¹⁹

Надеюсь, в этой небольшой реплике мне удалось прояснить свое понимание национализма. Я не могу судить о степени «продуктивности» своих представлений «для решения “русского вопроса” или любого другого вопроса такого рода» хотя бы потому, что я не вижу такого вопроса и ставлю перед собой другие задачи. И мне кажется, что исторический взгляд на политическую практику использования означенного «нация» помогает понять, какую стратегию гегемонии пытаются проводить в современной России.

в XIX веке см.: Finn M. *After Chartism: Class and Nation in English Radical Politics, 1848–1874*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004. P. 41, 84, 191. О чрезвычайно интересном вопросе влияния теорий «расовой борьбы» на марксизм см.: Kouvelakis E. *Philosophy and Revolution: From Kant to Marx*. London and New York: Verso, 2003. P. 207–216.

¹⁷ О применении декрета Комитета общественной безопасности от 26 жерминаля II года (15 апреля 1794 года), обязывавшего иностранцев и бывших представителей знати в течение десяти дней покинуть Париж, приморские города и военные крепости, см.: Heuer J. *Enemies of the Nation? Nobles, Foreigners and the Constitution of National Citizenship in the French Revolution* // L. Scales and O. Zimmer (eds). *Power and the Nation in European History*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006. P. 275–294.

¹⁸ См.: Грамши А. *Избранные произведения*. М.: Политиздат, 1980. С. 344–347.

¹⁹ Там же, с. 330. Правда, у Грамши речь шла не о Британии, а об Италии после 1848 года, откуда и происходит сам термин «трансформизм».